

гическому плану Сталина было стянуто под Москвой и за Москвой в огромный сокрушительный кулак, — все это ударило по немцам. Пружина сжалась до предела и разогнулась с невероятной силой. Слово, которого, затаив дыхание, ждала вся страна — «наступление», — стало делом. Наша армия под Москвой перешла в наступление. В сводках в обратном порядке снова стали мелькать названия подмосковных мест, сел и городов. В лютые морозы, по снегу, по льду, в метель наступала армия. Начиналось то огромное и великое, что потом стали называть — зимним разгромом немцев под Москвой.

* * *

Москва! Снова близится зима. Первые хлопья снега вкось пролетают в белых полосах света, отбрасываемых фарами. По ночной пустынной площади, цокая копытами, проезжает конный патруль. Уходят в черное ноябрьское небо остroверхие крыши кремлевских башен.

Москва! Твой образ чудится сегодня миллионам бойцов — от снежных вершин Кавказа до свинцовых волн Баренцева моря. Они видят тебя, неприступную, гордую, отбросившую от своих стен иноземные железные полчища.

Москва — ты всегда была для русских людей символом Родины, символом жизни. Отныне ты стала для них еще и символом победы, которая не приходит сама, которую надо завоевать так, как ее завоевала под своими древними стенами ты — Москва!

Послесловие редакции.

В дни, когда начиналась подготовка к празднованию 40-летия победы под Москвой, наш товарищ и коллега, профессор Московского государственного университета Михаил Тимофеевич Беляевский принес в редакцию альманаха пожелтевшие страницы газеты «Правда» от 6 ноября 1942 года, на которых статья Константина Симонова «Москва» впервые увидела свет и которые хранились в архиве Михаила Тимофеевича с тех времен. Естественно родилась мысль перепечатать статью, которую мы и представили нашим читателям, как интереснейший документальный памятник тех грозных дней. Статья напечатана с значительными сокращениями.

А. Т. Твардовский

Очерк из книги
«РОДИНА И ЧУЖБИНА»

Домой

Впервые такую повозку я видел летом 1941 года, на одной дороге в украинской степи: телега с верхом, сооруженным над задней ее половиной из листов красной железной крыши. Темная черноземная пыль колонны отходящих войск, обозы и толпы гонимых войной мирных людей с детьми, узелками, бедным, наскоро прихваченным скарбом. И, может быть, самой неизгладимой приметой великого народного бедствия осталась в памяти от тех дней эта повозка с верхом, сделанным из лоскута покинутой кровли.

А нынче такую повозку я увидел на обочине одного из тракторов на западе Белоруссии. И двигалась она на восток, и выглядывали из нее головенки измученных дорожной жарой ребятишек, и была она полна обычной жалостной беженской рухляди. Но все это имело совсем иной смысл.

— Домой, домой добираемся, товарищи дорогие, — поспешно, с охотой и радушием говорил высокий загорелый старик, шагая рядом с повозкой. — Домой, на Смоленщину. Кардымовские, — может, знаете деревню Твердилово? Вон куда он загнал нас. Целый год гнал, шутки ли куда! Мы уже думали — и не увидим больше своей стороны. А чего не натерпелись, господи, чего только не натерпелись! Как же теперь, можно нам тут на Кардымово проехать?

Он спрашивал так, как будто Кардымово находилось в нескольких километрах. А до него было добрых полтысячи.

Казалось, он еще не верил, что так-таки никто ему не возбраняет ехать в родные места.

— Это верно ваше слово, что и здесь мы уже дома, опять на советской земле. Но все ж человека туда тянет, откуда он родом произошел. Слово бы то же самое: земля, трава. А — нет! Дай домой — трава не та, пыль не та, разговор совсем не тот. А кому — самый раз, и все ему по душе здесь, раз он здешний человек. Угони его — и он будет ехать вот так, добираться домой... Я и то уже говорю старухе, — он указал кнутовищем на повозку, — дай бог, говорю, добраться на родную сторонку. А там хоть бы и помереть...

Он вдруг всхлипнул, и плечи его, покрытые ветхой, латаной рядниной, затряслись, как будто от долгого кашля. Во всей фигуре, в лице старика не было ничего расслабленного, ничего, что указывало бы на возможность этих внезапных слез, и тем более тяжело было видеть их. Отчего он заплакал? И от слова участия, и от еще не пережитого волнения и радости, и от сладкой жалости к своим старым годам, потрясенным такими испытаниями.

— Что с тобой, Никоньч? — сказала старуха с повозки, держа на коленях одного из малышей-внуков. — Что это? Будет уж, будет! — И в лице у нее был испуг: видимо, ей непривычно и больно было видеть минутную слабость хозяина. — Будет, Никоньч!..

Я, наверное, никогда не забуду этого старика, идущего за повозкой, плачущего на ходу и утирающего слезы большой загорелой рукой с зажатым в ней кнутовищем. И встреча эта напоминает мне и ставит в ряд многое множество встреч, картин, эпизодов горячей поры нашего наступления.

В Вильнюсе я заговорил на улице с двумя мальчиками лет девяти-двенадцати. Они были из Орла. Их привезли сюда с матерью, которая каким-то чудом не растеряла их и уберегла от голодной смерти, работая за кусок хлеба у немецких «панов», понаехавших в эти края. И эти ребята с такой взрослой, крестьянской положительностью повторили несколько раз в беседе:

— Мы орловские. Вот пойдут поезда — подадимся домой!

В словах их чувствовалась та же нежность и уважительность к родному краю, к земле отцов, что и у старого Никоньча, который шел теперь где-то за своей повозкой с верхом из горелого кровельного железа.

В Минске я заметил, что в лицо мне робко и пристально всматривается одна женщина. Вид у нее был больной, замученный. Она выждала, пока я остался вне

толпы, и боязливо дотронулась до моей руки.

— Скажите, пожалуйста, откуда вы сами будете?

Оказалось, что мы не только земляки, но почти однодеревенцы. Отступая из наших мест, немцы забрали ее с другими женщинами и девушками «рабочего» возраста. История мытарств этого человека, разлученного с домом и потерявшего почти всех близких, заняла бы много страниц. Самое страшное было в том, что моя землячка по привычке все еще говорила почти шепотом, озираясь по сторонам и точно не веря еще, что она среди своих, а не под конвоем и не на глазах у немцев-надсмотрщиков. Но, когда она слышала от меня названия знакомых обоем нам деревень и сел родной стороны или вспоминала их сама, болезненно исхудалое ее лицо освещалось радостью и детским умилением, и единственное, что она спешила спросить у меня: можно ли уже поехать на родину?

А через несколько дней в том же Минске, на вокзале, мне пришлось видеть такую картину.

Стоял эшелон с отодвинутыми во всю ширину дверями. В вагонах тесно, но удивительно дружно сидели люди, в большинстве женщины, старики и дети, с узелками, котомками. Это были жители из районов к востоку от Белоруссии, они ехали домой. Кого свобода застала в лагерях, за проволокой, кого — в пути, в колоннах, под конвоем, кого — на подворье у новых помещиков, в услужении у представителей фашистской администрации. Теперь они ехали домой, и это было написано на их лицах, слышалось в их голосах, звучало в песне, что сперва робко, а потом все увереннее заводилась в одном из вагонов, в земляческом кругу девушек.

По платформе от вагона к вагону топропиво перебежал какой-то сержант, точно опоздавший проводить кого-то едущего с этим поездом.

— Касплянские тут есть? — спрашивал он, заглядывая в дверь. — Нету?.. Ага, из-под Ярцева! Знаю. А я слышал, что тут и наши, касплянские, едут. Думаю себе: может, кого своих увижу? Ну, счастливой вам дороги! Счастливой!..

И с волнующей сердечностью разноголосо отзывался каждый вагон:

— Счастливо и вам, товарищи! Дай вам бог всего доброго! Спасибо вам, родные наши!

— Спасибо, сыночек!

И вдруг из дальнего конца эшелона дошло, донеслось, передаваясь с голоса на голос:

— Есть, есть касплянские! Кто тут спрашивал? Есть!

И сержант побежал в тот конец эшелона.